

*Марьяна Романова*

Редакционно-издательская группа  
«Жанровая литература»  
представляет книги  
**МАРЬЯНЫ РОМАНОВОЙ**

---

Болото

Дневник Саши Кашеваровой

Мертвые из Верхнего Лога

Солнце в рукаве

Старое кладбище

**Стая**

Страшные истории.  
Городские и деревенские

*Марьяна Романова*

---

---

**СТЯЯ**

---



Издательство АСТ  
Москва

УДК 821.161.1-312.9  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Р69

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

*Серия «Бестселлеры Марьяны Романовой»*

*Оформление переплета — Александр Шпаков*

**Романова, Марьяна.**

Р69      Стая : [роман] / Марьяна Романова. — Москва : Издательство АСТ, 2016. — 320 с. — (Бестселлеры Марьяны Романовой).

ISBN 978-5-17-090894-3

Бывает, что, столкнувшись с чем-то неизведанным и непонятым, человек, в первые мгновения почувствовав ужас, начинает вдруг испытывать неумолимое влечение к окутавшей его тайне, потрясшему его явлению, содрогнется перед смутной, мрачноватой неопределенностью, отказываясь повернуться и уйти прочь, оставив загадку неразрешенной.

Эта книга заставит вас с замиранием сердца, забыв обо всем на свете, следить за развитием жутковатого сюжета, ввергнет в то состояние, когда и оторваться невозможно, и в соседнюю темную комнату выйти одному страшно. Автор словно берет вас за руку и ведет в мир своих фантазий...

УДК 821.161.1-312.9  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-090894-3

© М. Романова, 2016  
© ООО «Издательство АСТ», 2016

**К**ночи в низину спустился туман, и темные бревенчатые дома небольшой забытой всеми богами деревеньки стали похожи на угрюмых старух в подвенечных платьях. У каждого старого дома свое лицо. Есть дома, которые словно тихо посмеиваются — скрип их покосившихся ставен похож на смех мудреца, который давно уравнил каждый момент с вечностью и вернулся в блаженное состояние чистоты. По-настоящему чисты только дети, блаженные и те, кто потратил свой век на примирение всего со всем. А есть дома мрачные, их темные окна как будто в самую душу смотрят, и в каждой их глубокой морщинке такая густая, почти осязаемая печаль, что сразу ясно — их стены видели многие беды. В таких домах — понимание и скорбь, ему сопутствующая. Возле этих домов даже говорят, слегка понизив голос, и вовсе не шутят, их часто годами пытаются продать по заниженной цене,

но все без толку — кто же захочет жить в такой похоронной торжественности, кто же хочет быть зараженным ледяной вековой тоской.

В одном из таких домов, самом крайнем, к ночи вдруг зажегся свет. Деревенские обычно засветло встают, а к полуночи отбывают в гости к Морфею. Ночная деревня тиха как кладбище, тишину нарушает лишь лай цепных собак. Или вой. Вот и сейчас — монотонный низкий вой, сначала тихий, затем укрепившийся, слабым летнем ветром разносимый над крышами. Не то собаки выли, не то волки. Первым подал голос вожак, затем подхватили остальные, и вот этот слаженный вой, казалось, занял собою все пространство. Как будто бы глашатаи с того света созывали войско собраться на скорбный звук своих труб.

Старик тяжело сполз с печной лежанки, протер кулаками заспанные слезящиеся глаза, накинул на плечи изъеденную молью шерстяную кофту. Он узнал этот вой, узнал эти голоса. Всю свою жизнь, с самого детства, он вставал на этот вой. Подходил к окну и задумчиво вглядывался в туман, представляя, что где-то совсем близко, за этим серым рваным покрывалом, *они*. Сильные, голодные, под их молодой кожей играют крепкие мускулы, из их пасти пахнет кровью, их колени перепачканы глиной и мхом. Старик

всего однажды видел одного из *них* — это было очень давно, он был еще подростком.

Отец всегда говорил ему: «Как только сядет солнце, за околицу не ходи. А особенно к лесу приближаться опасно. В наших краях *они* слухаются». Он приставал к отцу: кто такие *они*, почему *они* воют? И однажды отец рассказал, и все это было настолько похоже на сказку, что даже обидно — как будто бы его за малыша или дурачка держат. Но отец был серьезен. И отец взял с него клятву — никогда и никому не рассказывать об этом. И самому не пытаться узнать больше. Никогда не подходить к *ним*. Не лезть к *ним*. И особенно — никогда не пытаться стать одним из *них*. Даже если однажды в жизни настанет момент, когда это покажется единственным правильным выбором.

Старик называл себя Хранителем — хотя, возможно, это был слишком торжественный титул, потому что обладал он всего лишь секретом. Информацией, за которой даже никто не охотился. А вздумай он сам с кем-нибудь поделиться — ничего не добился бы, разве что получил бы койку в областной психиатрической лечебнице. Он прекрасно это осознавал.

Иногда, правда, с удивлением думал: ну неужели его соседи, которые живут в этой деревне десятки лет, совсем рядом, которые тоже слы-

шат этот тоскливый вой, — неужели они ни о чем не догадываются? Почему об этом никто никогда не говорит? Как это возможно — быть настолько слепыми? Конечно, с возрастом он понял, что большинство людей видят только то, что имеет к ним непосредственное и прямое отношение. Они и чужое чувство распознать не могут, и чужое намерение, все им надо по десять раз растолковывать да объяснять. Но этот вой... Он же словно под кожу пробирается, он же в самое сердце врезается осиновым колом! Как можно жить здесь столько лет и ни разу не задуматься о его природе? Может быть, они тоже Хранители? Иногда, встречаясь с кем-нибудь из соседей у колодца, он говорил что-нибудь вроде: «Сегодня ночью волки что-то разбушевались! Выли громко очень», — и с настороженным любопытством вглядывался в глаза того, к кому эту фразу обращал. Но ничего. Никогда и ничего.

Старик стоял у окна, прижавшись лбом к засиженному мухами мутному стеклу. Монотонное тоскливое разноголосье леденит кровь только поначалу, с годами к нему привыкаешь, оно прорастает внутрь и становится частью тебя.

Старик знал, что однажды наступит ночь, похожая на эту, с таким же сероватым туманом и с таким же густым близким воем, — ночь, когда он сползет со своей печи в последний раз. Он



был абсолютно уверен, что смерть не застанет его врасплох, это будет его осознанный выбор. И тогда он неторопливо оденется, возможно, выкурит на крыльце последнюю самокрутку, и пойдет в туман, *им навстречу*. Они проводят его в тот мир, который, по обнадеживающим слухам, лучше привычного. Мир, откуда возвратиться можно только мутной голограммой чьей-то памяти. Только вот старик был одинок, и едва ли мог рассчитывать на то, что о нем будут помнить дольше сорока дней. В деревне чтут традиции, соседи устроят ему поминки — спокойные и бесслезные. Вздохнут да и позабудут.

Псы и волки всегда ассоциировались с бедой.

Собака воеет — к смерти. В Библии псами называли еретиков: «...Берегитесь псов, берегитесь злых делателей... Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурей: им приготовлен мрак вечной тьмы... Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину». Мертвых египтян встречал в морочном мире псоглавый Анубис. Гекату, хранительцу ключей от мира Смерти, сопровождает стая псов. У древних народов собак приносили в жертву у гробниц — чтобы те показывали умершим дорогу на тот свет. Выход из Аида охранял Цербер, трехголовый чудовищный пес.

В «Халдейских оракулах» есть строки: «Демоны с песьими ликами выйдут из глубины подземной, истинных знаков они не являют для смертного взора».

Я познакомился с Семеновым в мои двадцать с небольшим. Развалился Союз, я вернулся из армии как будто бы в новую страну — все, что вроде бы было моими планами на будущее, вдруг потеряло смысл. Это было странное время, моя темная ночь души. Целыми днями я просто бродил по улицам, ощущая себя заблудившейся Ариадной, потихонечку проматывал скучное наследство и с ужасом понимал, что я даже не могу придумать детали желанного пути. Ведь чтобы к чему-то стремиться, надо держать в голове хотя бы иллюзорный финал маршрута. А я был как будто бы героем фантастического романа о попадании в параллельный мир — знакомые люди, знакомые дома, а жизнь какая-то другая.

Один мой школьный товарищ за эти два года стал бизнесменом и теперь разъезжал по городу в немецкой иномарке, похожей на серебряную пулю. В его интонациях появилось что-то снисходительно барское, даже голос словно стал чужим. Чужой голос говорит чужие слова — о Канарских островах, о каких-то «телках» из болгарского модельного агентства, которым можно дать

сто долларов, и они притворятся твоей спутницей на любой вечеринке, о закрытом караоке-клубе, в котором на бильярдном столе лежит обнаженная красавица, и с ее тела все слизывают черную икру. Чем больше округлялись мои глаза, тем больше он входил в раж — его вдохновляла социальная пропасть между нами. На моем фоне он казался себе не просто успешным, а почти великим. А ведь этот был Вовка, с которым в наши двенадцать лет мы выкупили у соседки котят, которых та собиралась утопить в ведре. За то, чтобы она позволила котяткам пожить у нее месяц и окрепнуть на мамином молоке, мы по очереди приходили мыть ее квартиру. А потом вместе стояли у метро и пытались пристроить котиков, придумывали им фальшивые родословные и смешную рекламу. Теперь же напротив меня сидел чужой мужик в твидовом пиджаке с золотой брошью на кармане. Как будто бы тот Вовка умер, а его тело занял неприкаянный дух.

Другой приятель подался в «шестерки» к какому-то то ли уголовному авторитету, то ли бизнесмену, кто их разберет. Накачал мускулы не хуже, чем у Ван Дамма, носил при себе армейский нож и два пистолета — один в кобуре, другой — в портфеле из крокодиловой кожи. Портфель шел ему как корове седло, но это был подарок

босса, священный артефакт, фетиш и доказательство принадлежности к миру, в котором за считанные месяцы можно было вскарабкаться на местечковый олимп. Забегая вперед — приятель тот сумел вскарабкаться лишь в лодку Харона. Погиб в перестрелке спустя полгода после нашей последней встречи. Тот портфель из крокодиловой кожи положили в его гроб.

Я чувствовал себя одиноким, не понимающим и непонятым.

Два года назад в военкомат меня провожал двоюродный брат — он был старше меня почти на двадцать лет, — и был прощальный вечер с советским шампанским, сентиментальными бардовскими песнями под гитару и мечтами: вот отслужу, потом в институт, потом инженером в НИИ, дачу продадим, вместо нее купим домик на далеком крымском мысе Тарханкут, заведем лодку, удочки и кавказскую овчарку. А потом у брата нашли онкологию — запущенная опухоль, мгновенная деградация из спортивного крепкого молодежьавого мужчины в дряхлого испуганного старика. Я брал увольнительную, чтобы приехать на его похороны и даже не узнал его в гробу. Худое чужое лицо, темное и страшное.

И вот я вернулся в «большой мир» и вдруг почувствовал себя ребенком, потерявшимся

в магазине. Такая беспомощность и отчаяние. Мне было стыдно и противно от этого самоощущения, хотелось как можно скорее вновь нащупать ногами твердь.

Я был неприкаянным и слабым, как бумажный кораблик, брошенный мальчишкой в набирающий мощь мартовский ручей. И все, что я мог сделать — просто быть в потоке.

У меня появилась девушка. Татьяна.

Она была красивая и странная. Впрочем, в начале девяностых вокруг было много странных людей — такой вот культ непохожести на остальных. В этом желании выделиться тоже была своеобразная штампованность. Но моя Татьяна была действительно самобытна — она не пыталась подражать ни доморощенным хиппи и панкам, ни гуманоидным персонажам из вошедших в моду андеграундных журналов, никому. Ей было двадцать лет, но лицо ее сохранило детские очертания — посторонние порой не давали ей больше двенадцати. При этом ее волосы были абсолютно седые — даже у глубоких стариков нечасто встречается такая безупречная полярная седина, без единого вкрапления пепла. Она была похожа не на живого человека, а на серьезную и немного зловещую куклу из фильма ужасов. Мы познакомились на выставке —

в наш город приехала столичная художница, глубокая старуха, которая рисовала только глаза. На каждой картине — одни только глаза. Детские, в которых наивное предвкушение вечности. Юные — в которых дерзость иллюзорного владения всем миром. Старческие, слезящиеся и печальные. И под каждой картиной — небольшая история.

«Это глаза человека, который умер через две недели после того, как я закончила картину. Он тяжело болел, знал, что уходит и был к этому готов. Пока я его рисовала, он рассказывал о том, как готовится к путешествию. Поначалу мне было жутковато это слушать — я сама чувствовала себя будущим мертвецом в фазе отрицания неизбежности. Но он научил меня относиться к смерти как к дороге и приключению. Он собирался в Смерть как романтический сталкер собирается на поиски золотого Паитити. Он читал мне Тибетскую и Египетскую книги мертвых и, честно говоря, больше был похож на экскурсовода, а не на туриста. Как будто бы *та сторона* уже немного ему принадлежала».

«Это глаза известной балерины, которая нашла время для позирования, потому что восстанавливалась после тяжелой травмы. Я работала с ней четыре раза по восемь часов. Все это время она рассказывала о своей главной сопернице.

Они учились вместе с пяти лет. Общее отсутствие детства. Только станок, диета, деформированные ступни, никаких мелких радостей жизни. А потом — один и тот же театр и лютая, волчья конкуренция. В детстве были подругами, а потом жизнь заставила каждую целиться в горло другой. Моя балерина была более удачливой. Ей доставались все главные партии. И вдруг такое. Теперь танцует ее подруга, а она даже на репетицию не может пойти, потому что плачет от обиды. Она и во время позирования постоянно плакала. Возможно, вы это видите на картине, хотя я старалась ловить моменты, когда глаза ее были ясны».

«Это глаза молодого парня, вернувшегося с войны. Афганистан. Я знала его всю жизнь, сыночек моих соседей. Уговорила его позировать сразу же, как только приехал, пока отражение войны не испарилось из его глаз. Но зря торопилась. С тех пор прошло достаточно времени, а глаза у него такие же».

Глаза были такие реалистичные, живые, что довольно скоро, бродя между картин, я поймал не очень комфортное ощущение — будто бы подглядываю за тем, что знать мне не должно. Поймал себя на том, что деликатно отвожу взгляд. И другие посетители топтались вокруг какие-то притихшие. Хотя в нашем небольшом